



## Иван Быкович

Русская народная сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею, детей у них не было. Стали они Бога молить, чтоб создал им детище во младости на поглядение, а под старость на прокормление. Помолились, легли спать и уснули крепким сном.

Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруду златопёрый ёрш плавает, коли царица его скушает, сейчас может забеременеть. Просыпались царь с царицею, кликали к себе мамок и нянек, стали им рассказывать свой сон. Мамки и няньки так рассудили: что во сне привиделось, то и наяву может случиться.

Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша златопёрого.

На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и на их счастье с первою ж тонею попался златопёрый ёрш. Вынули его, принесли во дворец; как увидела царица, не могла на месте усидеть, скоро к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой казной награждала; после позвала свою любимую кухарку и отдавала ей ерша златопёрого с рук на руки.

— На, приготовь к обеду, да смотри, чтобы никто до него не дотронулся.

Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила; по двору ходила корова, те помои выпила; рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала.

У царицы родился Иван-царевич, у кухарки — Иван, кухаркин сын, у коровы — Иван Быкович.

Стали ребятки расти не по дням, а по часам; как хорошее тесто на опаре поднимается, так и они вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто из них дитя царское, кто — кухаркино и кто от коровы народился. Только по тому и различали их: как воротятся с гулянья, Иван-царевич просит бельё переменить, кухаркин сын норовит съесть что-нибудь, а Иван Быкович прямо на отдых ложится. По десятому году пришли они к царю и говорят:

— Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку в пятьдесят пудов.

Царь приказал своим кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов, те принялись за работу и в неделю сделали. Никто палки за один край приподнять не может, а Иван-царевич, да Иван, кухаркин сын, да Иван Быкович между пальцами её повертывают, словно перо гусиное.

Вышли они на широкий царский двор.

— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — давайте силу пробовать, кому быть бóльшим братом.

— Ладно, — отвечал Иван Быкович, — бери палку и бей нас по плечам.

Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана, кухаркина сына, да Ивана Быковича по

плечам и вбил того и другого по колена в землю. Иван, кухаркин сын, ударил — вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую грудь в землю; а Иван Быкович ударил — вбил обоих братьев по самую шею.

— Давайте, — говорит царевич, — ещё силу попытаем: станем бросать железную палку кверху; кто выше забросит — тот будет больший брат.

— Ну что ж, бросай ты!

Иван-царевич бросил — палка через четверть часа назад упала, Иван, кухаркин сын, бросил — палка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил — только через час воротилась.

— Ну, Иван Быкович, будь ты больший брат.

После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень.

— Ишь какой камень! Нельзя ль его с места сдвинуть? — сказал Иван-царевич, упёрся в него руками, возился, возился — нет, не берёт сила.

Попробовал Иван, кухаркин сын, — камень чуть-чуть подвинулся. Говорит им Иван Быкович:

— Мелко же вы плаваете! Пойдите, я попробую.

Подошёл к камню да как двинет его ногою — камень аж загудел, покатился на другую сторону сада и переломал много всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся, в подвале стоят три коня богатырских, по стенам висит сбруя ратная: есть на чём добрым молодцам разгуляться!

Тотчас побежали они к царю и стали проситься:

— Государь-батюшка! Благослови нас в чужие земли ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях показать.

Царь их благословил, на дорогу казной наградил; они с царём простились, сели на богатых коней и в путь-дорогу пустились.

Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и приехали в дремучий лес. В том лесу стоит избушка на курячих ножках, на бараньих рожках, когда надо — повёртывается.

— Избушка, избушка, повернись к нам передом, к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести.

Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в избушку — на печке лежит Баба-яга костяная нога, нос в потолок.

— Фу-фу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится.

— Эй, старуха, не бранись, слезь-ка с печки да на лавочку садись. Спроси, куда едем мы. Я добренько скажу.

Баба-яга слезла с печки, подошла к Ивану Быковичу близко, поклонилась ему низко:

— Здравствуй, батюшка Иван Быкович! Куда едешь, куда путь держишь?

— Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо живёт.

— Ай да Ванюша! За дело хватился; ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром покати.

Братья переночевали у Бабы-яги, поутру рано встали и отправились в путь-дорогу.

Приезжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости человеческие, по колению будет навалено! Увидали они избушку, вошли в неё — пустёхонька и вздумали тут остановиться.

Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович:

— Братцы! Мы заехали в чужедальную сторону, надо жить нам с осторожкою, давайте по очереди на дозор ходить.

Кинули жеребий — доставалось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, другую — Ивану, кухаркину сыну, а третью — Ивану Быковичу.

Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него не понадеялся: как пошло время за полночь — он тотчас готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали — выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт<sup>1</sup> оцетинился. Говорит чудо-юдо шестиглавое:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, песья шерсть, оцетинилась? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, ещё не родился, а коли родился — так на войну не сгодился. Я его на одну руку посажу, другой прихлопну — только мокренько будет!

Выскочил Иван Быкович:

— Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна сокола, рано перья щипать, не отведав

---

<sup>1</sup> Хорт — борзая собака, ловчая.

добра молодца, нечего хулить его. А давай лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится.

Вот сошлись они — поравнялись, так жестоко ударились, что кругом земля простонала. Чуду-юду не посчастливилось: Иван Быкович с одного размаху сшиб ему три головы.

— Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху.

— Что за роздых! У тебя, нечистая сила, три головы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем.

Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быкович отрубил чуду-юду последние головы. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит Иван-царевич.

— Ну что, не видал ли чего?

— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала.

На другую ночь отправился на дозор Иван, кухаркин сын, забрался в кусты и заснул. Иван Быкович на него не понадеялся: как пошло время за полночь — он тотчас снарядился, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались — выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ошестинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по перьям, хорту по ушам:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли

родился — так на войну не сгодился. Я его одним пальцем убью!

Выскочил Иван Быкович:

— погоди — не хвались, прежде Богу помолись, руки умой да за дело примись! Ещё неведомо — чья возьмёт!

Как махнёт богатырь своим острым мечом раз-два, так и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил — по колена его в сыру землю вогнал.

Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо протирал свои глазища, богатырь срубил ему и остальные головы, взял туловище — рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил.

Наутро приходит Иван, кухаркин сын.

— Что, брат, не видал ли за ночь чего?

— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал!

Иван Быкович повёл братьев под калиновый мост, показал им на мёртвые головы и стал стыдить:

— Эх вы, сони, где вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!

На третью ночь собирается на дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску поставил и говорит братьям:

— Я на страшный бой иду, а вы, братцы, всю ночь не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит — ладно дело, если полна миска набежит — всё ничего, а если че-



рез край польёт — тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня и сами спешите на помощь мне.

Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло время за полночь, на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались — выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива — золотые. Едет чудо-юдо, вдруг под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ошетинился. Чудо-юдо коня по бедрам, ворона по перьям, хорту по ушам:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли родился — так на войну не сгодился. Я только дуну — его и праху не останется!

Выскочил Иван Быкович.

— Погоди — не хвались, прежде Богу помолись!

— А, ты здесь! Зачем пришёл?

— На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей крепости испробовать.

— Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо мной!

Отвечает Иван Быкович:

— Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть воевать.

Размахнулся своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы.

Чудо-юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем — и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали!

Плохо пришлось Ивану Быковичу, чудо-юдо стал одолевать его, по колена вогнал в сыру землю.

— Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те замирение делают, а мы с тобой неужели будем воевать без роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх раз.

Чудо-юдо согласился, Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его братья спят, ничего не слышат. В другой раз размахнулся Иван Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем — и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс в сыру землю.

Запросил богатырь роздыху, снял левую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ничего не слышат.

В третий раз размахнулся он ещё сильнее и срубил чуду-юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем — головы опять приросли, а Ивана Быковича вогнал он в сыру землю по самые плечи.

Иван Быкович запросил роздыху, снял с себя шляпу и пустил в избушку; от того удара избушка развалилася, вся по брёвнам раскатилася.

Тут только братья проснулись, глянули — кровь из миски через край льётся, а богатырский конь громко ржёт да с цепей рвётся. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами на помощь спешат.

— А! — говорит чудо-юдо. — Ты обманом живёшь, у тебя помощь есть.

Богатырский конь прибежал, начал бить его копытами, а Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился и отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы: сшиб все до единой и побросал всё в реку Смородину.

Прибегают братья.

— Эх вы, сони! — говорит Иван Быкович. — Из-за вашего сна я чуть-чуть головы не лишился.

Путру ранёшенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воробышком, прилетел к белокаменным палатам и сел у открытого окошечка. Увидала его старая ведьма, посыпала зёрнышков и стала сказывать:

— Воробышек-воробей! Ты прилетел зёрнышков покушать, моего горя послушать. Насмеялся надо мной Иван Быкович, всех зятьёв моих извёл.

— Не горюй, матушка! Мы ему за всё отплатим, — говорят чудо-юдовы жёны.

— Вот я, — говорит меньшая, — напущу голод, сама выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с золотыми и серебряными яблочками: кто яблочко сорвёт — тот сейчас лопнет.

— А я, — говорит средняя, — напущу жажду, сама сделаюсь колодезем, на воде будут две чаши плавать: одна золотая, другая серебряная; кто за чашу возьмётся — того я погублю.

— А я, — говорит старшая, — сон напущу, а сама перекинусь золотой кроваткою: кто на кроватке ляжет — тот огнём сгорит.

Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился оземь и стал по-прежнему добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой.

Едут они дорогою, голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь — стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками. Иван-царевич да Иван, кухаркин сын, пустились было яблочки рвать, да Иван Быкович наперёд заскакал и давай рубить яблоню крест-накрест!

То же сделал он и с колодезем и с золотую кроваткою. Не стало чудо-юдовых жён.

Как проведала о том старая ведьма, нарядилась нищенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. Едет Иван Быкович с братьями, она протянула руку и стала просить милостыни.

Говорит царевич Ивану Быковичу:

— Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой казны? Подай этой нищенке святую милостыню.

Иван Быкович вынул червонец и подаёт старухе; она не берётся за деньги, а берёт его за руку и вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись — нет ни старухи, ни Ивана Быковича и со страху поскакали домой, хвосты поджавши.

А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и привела к своему мужу — глубокому старику.

— На тебе, — говорит, — нашего погубителя!

Старик лежит на железной кровати, ничего не видит: длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал им приказывать:

— Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови и ресницы чёрные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей?

Богатыри подняли ему брови и ресницы вилами, старик взглянул:

— Ай да молодец Ванюша! Да что ты взял смелость с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою делать?

— Твоя воля, что хочешь, то и делай, я на всё готов.

— Ну да что много толковать, ведь детей не поднять. Сослужи-ка мне лучше службу: съезди в невиданное царство, в небывалое государство и достань мне царицу — золотые кудри, я хочу на ней жениться.

Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому чёрту, жениться, разве мне молодцу!»

А старуха разъярилась и ушла.

— Вот тебе, Ванюша, дубинка, — говорит старик, — ступай ты к такому-то дубу, стукни в него три раза дубинкою и скажи: «Выйди, корабль! Выйди, корабль! Выйди, корабль!» Как выйдет к тебе корабль, в то самое время отдай дубу трижды приказ, чтобы он затворился; да смотри не забудь! Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду великую.

Иван Быкович пришёл к дубу, ударяет в него дубинкою бессчётное число раз и приказывает:

— Все, что есть, выходи!

Вышел первый корабль; Иван Быкович сел в него, крикнул:

— Все за мной! — и поехал в путь-дорогу.

Отъехав немного, оглянулся назад — и видит: сила несметная кораблей и лодок! Все

его хвалят, все благодарят. Подъезжает к нему старичок в лодке:

— Батюшка Иван Быкович, много лет тебе здравствовать! Прими меня в товарищи.

— А ты что умеешь?

— Умею, батюшка, хлеб есть.

Иван Быкович сказал:

— Фу, пропасть! Я и сам на это горазд. Однако садись на корабль, я добрым товарищам рад.

Подъезжает в лодке другой старичок:

— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с собой.

— А ты что умеешь?

— Умею, батюшка, квас пить.

— Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль.

Подъезжает третий старичок:

— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня.

— Говори, что умеешь?

— Я, батюшка, умею в бане париться.

— Фу, лихая те побери! Эки, подумаешь, мудрецы!

Взял на корабль и этого, а тут ещё лодка подъехала, говорит четвёртый старичок:

— Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими меня в товарищи.

— Да ты кто такой?

— Я, батюшка, звездочёт.

— Ну, уж на это я не горазд, будь моим товарищем.

Принял четвёртого, просится пятый старичок.

— Прах вас возьми! Куды мне с вами деваться? Сказывай скорей, что умеешь?

— Я, батюшка, умею ершом плавать.

— Ну милости просим!

Вот поехали они за царицей — золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое государство; а там уже давно знают, что Иван Быкович будет, и целых три месяца хлеб пекли, квас готовили. Увидал Иван Быкович несчётное число возов хлеба да столько же бочек кваса, удивляется и спрашивает:

— Что б это значило?

— Это всё для тебя наготовлено.

— Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не съесть, не выпить.

Тут вспомнил Иван Быкович про своих товарищей и стал вызывать:

— Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть умеет?

Отзываются Обьедайло да Опивайло:

— Мы, батюшка! Наше дело ребячье.

— А ну, принимайтесь за работу!

Подбежал один старик, начал хлеб поедать: разом в рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Всё съел и ну кричать:

— Мало хлеба, давайте ещё!

Подбежал другой старик, начал квас пить, всё выпил и бочки проглотил.

— Мало, — кричит. — Подавайте ещё!

Засуетилась прислуга, бросилась к царице с докладом, что ни хлеба, ни кваса не достало.

А царица — золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню париться. Та баня топилась три месяца и так накалена была, что за пять верст нельзя было подойти к ней. Стали звать Ивана Быковича в баню париться. Он увидал, что от бани огнём пышет, и говорит:

— Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!

Тут ему опять вспомнилось:

— Ведь со мной товарищи есть! Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?

Подбежал старик:

— Я, батюшка! Моё дело ребячье.

Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул — вся баня остыла, а в углах снег лежит.

— Ох, батюшки, замёрз, топите ещё три года! — кричит старик что есть мочи.

Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем замёрзла, а Иван Быкович стал требовать, чтоб ему царицу — золотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла, подала свою белую руку, села на корабль и поехала.

Вот плывут они день и другой, вдруг ей сделалось грустно, тяжело — ударила себя в грудь, оборотилась звездой и улетела на небо.

— Ну, — говорит Иван Быкович, — совсем пропала! — Потом вспомнил: — Ах, ведь у меня есть товарищи. Эй, старички-молодцы! Кто из вас звездочёт?

— Я, батюшка! Моё дело ребячье, — отвечал старик, ударился оземь, сделался сам звездой, полетел на небо и стал считать звёзды. Одну нашёл лишнюю и ну толкать её! Сорвалась звёздочка со своего места, быстро покатила по небу, упала на корабль и обернулась царицею — золотые кудри.

Опять едут день, едут другой. Нашла на царицу грусть-тоска, ударила себя в грудь, оборотилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» — думает Иван Быкович, да



вспомнил про последнего старичка и стал его спрашивать:

— Ты, что ль, горазд ершом плавать?

— Я, батюшка, моё дело ребячье! — Ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою и давай её под бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею — золотые кудри.

Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по своим домам пустились, а он поехал к чудо-юдову отцу.

Приехал к нему с царицею — золотые кудри. Тот позвал двенадцать могучих богатырей, велел принести вилы железные и поднять ему брови и ресницы чёрные. Глянул на царицу и говорит:

— Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя прощу, на белый свет отпущу.

— Нет, погоди, — отвечает Иван Быкович, — не подумавши сказал!

— А что?

— Да у меня приготовлена яма глубокая, через яму лежит жёрдочка: кто по жёрдочке пройдёт, тот за себя и царицу возьмёт!

— Ладно, Ванюша! Ступай ты наперёд.

Иван Быкович пошёл по жёрдочке, а царица — золотые кудри про себя говорит:

— Легче пуху лебединого пройди!

Иван Быкович прошёл — и жёрдочка не погнулась, а неугомонный старик пошёл — только на середину ступил, так и полетел в яму.

Иван Быкович взял царицу — золотые кудри и воротился домой, скоро они обвенчались и задали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да своим братьям похваляется:

— Хоть долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите кирпичи!

На том пиру и я был, квас пил, по усам текло, да в рот не попало.

## Снегурочка

Русская народная сказка

Жили-были на свете дед и баба. Жили они, жили и состарились.

А детей у них не было. И очень они о том горевали. Вот раз зимой выпало снегу по колёно. Выбежали ребятишки на улицу играть. На санках катаются, снежками кидаются. А потом стали снежную бабу лепить.

Смотрел на них старик из окошка, смотрел да и говорит бабе:

— А что, старуха, не пойти ли и нам по молодому снежку погулять?

А старуха в ответ:

— Что же, старик, пойдём. Вылепим себе из снега дочку Снегурочку.

Так и сделали. Пошли в огород и давай Снегурочку лепить. Вылепили ручки, ножки, головку. Глазки из светлых льдинок сделали, брови угольком вывели. Хороша Снегурочка! Смотрят на неё старики — насмотреться не могут.

И вдруг усмехнулась Снегурочка, бровью повела, ручку подняла, шагнула разок-другой и пошла себе тихонько по снегу к избе.

Тут-то обрадовались дед и баба, побежали за ней в избу, не знают, куда посадить, чем угостить.

Так и осталась жить у деда с бабой дочка Снегурочка.

Растёт Снегурочка не по дням, а по часам. Что ни день — всё умнее да милее становится.

Дед и баба на неё не нарадуются. Сапожки ей купили сафьяновые, ленту в косу — атласную.

День и ночь — сутки прочь. Вот и миновала зима, пришла весна. Стало солнышко пригревать. Потекли из-под снега ручьи. Закапало с крыши. Все ребята рады-радешеньки. Одна Снегурочка невесела — сидит в уголке, на свет не глядит.

Только и радости у неё, как набегут на небо тёмные тучи да холодком дохнёт. Смотрит на неё старуха, головой качает.

— Кто тебя, доченька, обидел?

— Никто не обидел, матушка.

— Может, нездоровится?

Молчит Снегурочка, а у самой по белым щекам слёзы катятся.

Тут и лето настало. Солнышко печёт, земля цветёт. Собрались девушки в лес гулять и Снегурочку зовут:

— Пойдём с нами!

Боится Снегурочка за порог выйти.

— Жарко, — говорит, — солнце голову напечёт.

— А ты платочек на голову повяжи, вот и не напечёт.

Не пошла бы Снегурочка, да старики её уговорили:

— Ступай, доченька. Что тебе одной сидеть?

Послушалась Снегурочка, пошла с девушками. Они в лесу цветы рвут, венки плетут, а она себе сидит в тени у студёного ручейка, ножки в воду опустила, ждёт, пока солнце закатится.

Вот и зашло солнышко. Вечер наступил.

Развеселились девушки, развели костёр и вздумали через огонь прыгать. Одна прыгнула, а за ней другая, третья.

— Что же ты не прыгаешь? — говорят ей подруги. — Иль боишься?

Собралась Снегурочка с духом, разбежалась и прыгнула. Смотрят девушки — где же Снегурочка? Нет её. Только над костром белый пар вьётся. Свился в тонкое облачко, и полетело облачко высоко-высоко — другие облака догонять.

Растаяла Снегурочка.

## Хитрая наука

Русская народная сказка

Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный; хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души, да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его, водил по городам — авось возьмёт кто в ученье. Нет, никто не взялся учить без денег.

Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, потужил-погоревал о своей бедности и опять повёл сына в город. Только пришли

они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда:

— Что, старичок, пригорюнился?

— Как мне не пригорюниться! — сказал дед. — Вот водил-водил сына, никто не берёт без денег в науку, а денег нетути!

— Ну так отдай его мне, — говорит встречный, — я его в три года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном, да смотри: коли не просрочишь — придёшь вовремя да узнаешь своего сына — возмёшь его назад, а коли нет, так оставаться ему у меня.

Дед так обрадовался и не спросил: кто такой встречный, где живёт и чему учить станет малого? Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в радости, рассказал обо всём бабе, а встречный-то был колдун.

Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошёл в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: завтра-де сравняется как раз три года, надо за ним приходиться; и рассказал, куда за ним приходиться и как его узнавать.

— У хозяина моего не я один в науке, есть, — говорит, — ещё одиннадцать работников, навсегда при нём остались — оттого, что родители не смогли их признать. И только ты меня не признаешь, так и я останусь при нём двенадцатым. Завтра, как придёшь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать вы-

пустит белыми голубями — перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты и смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на того голубя, что повыше всех.

После выведет он к тебе двенадцать жеребцов — все одной масти, гривы на одну сторону и собой ровны. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал своего сына? Ты смело показывай на меня.

После того выведет к тебе двенадцать добрых молодцев — рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежей ровны. Как станешь проходить мимо тех молодцев, примечай-ка: на правую щёку ко мне нет-нет да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на меня.

Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл из дому, хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину.

Поутру дед встал, собрался и пошёл за сыном. Приходит к колдуну.

— Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только, если не признаешь его, оставаться ему при мне на веки вечные.

После того выпустил он двенадцать белых голубей — перо в перо, хвост в хвост, голова в голову ровны, и говорит:

— Узнавай, старик, своего сына!

Как узнавать-то, ишь все ровны! Смотрел-смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя:

— Кажись, это мой!

— Узнал, узнал, дедушка! — сказывает колдун.

В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов — все, как один, и гривы на одну сторону.

Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает:

— Ну что, дедушка! Узнал своего сына?

— Нет ещё, погоди маленько.

Да как увидал, что один жеребец топнул правую ногу, сейчас показал на него:

— Кажись, это мой!

— Узнал, узнал, дедушка!

В третий раз вышли двенадцать добрых молодцев — рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила.

Дед раз прошёл мимо молодцев — ничего не приметил, в другой прошёл — тоже ничего, а как проходил в третий раз — увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит:

— Кажись, это мой!

— Узнал, узнал, дедушка!

Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой.

Шли-шли и видят: едет по дороге какой-то барин.

— Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сделаю собакою. Барин станет покупать

меня, ты меня-то продай, а ошейника не продавай, не то я к тебе назад не ворочусь!

Сказал так-то да в ту ж минуту ударился оземь и оборотился собачкою.

Барин увидел, что старик ведёт собачку, зачал её торговать: не так ему собачка показалась, как ошейник хорош. Барин даёт за неё сто рублёв, а дед просит триста. Торговались-торговались, и купил барин собачку за двести рублёв.

Только стал было дед снимать ошейник — куда! — барин и слышать про то не хочет, упирается.

— Я ошейника не продавал, — говорит дед, — я продал одну собачку.

А барин:

— Нет, врешь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник.

Дед подумал-подумал (ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку!) и отдал её с ошейником.

Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошёл домой.

Вот барин едет себе да едет, вдруг откуда ни возьмись бежит навстречу заяц.

«Что, — думает барин, — али выпустить собачку за зайцем да посмотреть её прыти?»

Только выпустил, смотрит: заяц бежит в одну сторону, собака в другую — и убежала в лес.

Ждал-ждал её барин, не дождался и поехал ни при чём.

А собачка оборотилась добрым молодцем.

Дед идёт дорогою, идёт широкою и думает: «Как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал?» А сын уж нагнал его.



— Эх, батюшка! — говорит. — Зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что!

Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу:

— Батюшка, я обернусь птичкой, понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, не то домой не ворочусь.

Ударился оземь, сделался птичкой, старик посадил её в клетку и понёс продавать.

Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку: так она всем показалась!

Пришёл и колдун, тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Тот даёт дорого, другой даёт дорого, а он дороже всех. Продал ему старик птичку, а клетки не отдаёт. Колдун туда-сюда, бился с ним, бился, ничего не берёт!

Взял одну птичку, завернул в платок и понёс домой.

— Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца!

— Где же он?

Колдун распахнул платок, а птички давно нет — улетела, сердешная!

Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу:

— Батюшка! Я обернусь нынче лошастью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать; не то домой не ворочусь.

Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью. Повел её дед на базар продавать.

Обступили старика торговые люди, все барышники: тот даёт дорого, другой даёт дорого, а колдун дороже всех.

Дед продал ему сына, а уздечки не отдаёт.

— Да как же я поведу лошадь-то? — спрашивает колдун. — Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду: мне она не в корысть!

Тут все барышники на деда накинулись: так-де не водится! Продал лошадь — продал и узду. Что с ними поделаешь? Отдал дед уздечку.

Колдун привёл коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову: стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают.

— Ну, дочка, — рассказывает опять колдун, — вот когда купил, так купил нашего шельмеца.

— Где же он?

— На конюшне стоит.

Дочь побежала смотреть. Жалко ей стало добра молодца, захотела подлинней отпустить повод, стала распутывать да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошёл вёрсты отсчитывать.

Бросилась дочь к отцу.

— Батюшка, — говорит, — прости! Грех меня попутал, конь убежал!

Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит!

Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним щукою.

Ёрш бежал-бежал водою, добрался к плотам, где красные девицы бельё моют, перекинулся золотым кольцом и подкатился купеческой дочери под ноги.

Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком.

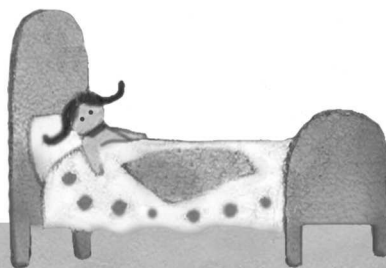
— Отдай, — пристаёт к ней, — моё золотое кольцо.

— Бери! — говорит девица и бросила кольцо наземь.

Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими зёрнами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать; пока клевал — одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху: задрал его ястреб!

Тут и сказки конец, а кто слушал молодец.

Детства  
счастливые годы...





## Волшебные краски

Один раз в сто лет самый добрый из всех добрых стариков — Дед Мороз — в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживёт.

Хочешь — нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь — нарисуй корабль и плыви на нём... Или звездолёт — и лети к звёздам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, например стул, — пожалуйста... Нарисуй и садись на него. Волшебными красками можно нарисовать что угодно, даже мыло, и оно будет мылиться. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех самых добрых детей.

И это понятно... Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке — они могут натворить много бед. Стоит, скажем, этими красками пририсовать человеку второй нос, и он будет двуносым. Стоит пририсовать собаке рога, курице — усы, а кошке — горб, и будет собака — рогатой, курица — усатой, а кошка — горбатой.

Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей, а потом уже выбирает, кому из них подарить волшебные краски.

В последний раз Дед Мороз подарил волшебные краски одному самому доброму из всех самых добрых мальчиков.

Мальчик очень обрадовался краскам и тут же принялся рисовать. Рисовать для других. Потому что он был самый добрый из всех самых добрых мальчиков. Он нарисовал бабушке тёплый платок, маме — нарядное платье, а отцу — новое охотничье ружьё. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам — большую-пребольшую школу...

Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер... Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвёртый день... Он рисовал, желая людям добра. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Но...

Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок, нарисованный бабушке, был похож на тряпицу для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пёстрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружьё ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того ужасной, что к ней боялись подходить близко. Падающие стены. Крыша набекрень. Кривые окна. Косые двери... Страшилище, а не дом. Уродливое здание не захотели взять даже для склада.

Так на улице появились деревья, похожие на старые метёлки. Появились лошади с проволочными ногами, автомобили с какими-то странными кругляшками вместо колёс, самолёты с тяжеленными крыльями, электрические провода толщиной в бревно, шубы и пальто, у которых один рукав длиннее другого... Так появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться, и люди ужаснулись.

— Как ты мог сделать столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчиков?

И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать счастливыми людей, но, не умея рисовать, он зря извёл краски.

Мальчик плакал так громко и безутешно, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков — Дед Мороз. Услышал и вернулся к нему. Вернулся и положил перед мальчиком краски.

— Только это, мой друг, простые краски... Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь...

Так сказал Дед Мороз и удалился...

Прошёл год... Прошло два года... Прошло много и очень много лет. Мальчик стал юношей, потом взрослым человеком, а потом стариком... Он всю жизнь рисовал простыми красками. Рисовал дома. Рисовал лица людей. Одежду. Самолёты. Мосты. Железнодорожные станции. Дворцы... И пришло время, настали счастливые дни, когда нарисованное им на бумаге стало переходить в жизнь...

Появилось множество прекрасных зданий, построенных по его рисункам. Полетели чудесные самолёты. С берега на берег перекинулись новые мосты... И никто не хотел верить, что всё это было нарисовано простыми красками. Все их называли волшебными...

Так случается на белом свете... Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой и даже с простой глиной... Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого волшебника из самых великих волшебников — руки трудолюбивого человека...



## Торопливый ножик

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой, — отвечает Митя, — косо строгают.

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так, — сказал отец.

Взял палочку да принялся её строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.

СОФЬЯ МОГИЛЕВСКАЯ

## Лето в Крёкшине

НА ДАЧУ В КРЁКШИНО

Было это давно-давно, в 1909 году. Я была ещё совсем маленькой девочкой, мне минуло тогда шесть лет. У меня был брат Гриша и младшая сестрёнка Женя.

Каждое лето наша семья уезжала на дачу в подмосковную деревню Крёкшино. Там родители снимали небольшой домик.

А в Крёкшино мы собирались так. Рано утром туда отправлялся огромный воз с вещами. На возу, устроившись на чём-нибудь мягком, отбывала наша няня.

И для нас с братом наступала вольная волюшка! Няни нет, отец и мама, каждый по-своему, заняты сборами в дорогу, а мы — бегай, носись, веселись, прыгай, скачи, кричи — всё можно! Комнаты, из которых многие вещи уехали на возу, стали непривычно просторные, светлые, гулкие.

А после обеда на вокзал отправляемся и мы. Едем на извозчике. В извозничьей пролётке<sup>1</sup> нас шестеро. На переднем сиденье мама с маленькой сестрёнкой на руках, рядом отец; между колен он держит свою виолончель. Ведь он музыкант, виолончелист. Он занимается каждое утро, не пропуская ни одного дня. И на даче он будет тоже по утрам играть на виолончели.

А на откидной узкой скамеечке, лицом к маме и папе, сидим я и мой брат Гриша. Мы крепко вцепились руками в эту скамеечку. Булыжная мостовая в ухабах, пролётку потряхивает, мы боимся упасть.

Теперь сядешь на метро, и через каких-нибудь десять-пятнадцать минут вот он и Киевский вокзал!

А во времена моего детства путь туда был долгим, медленным и утомительным. К концу

---

<sup>1</sup> Пролётка — открытый четырёхколёсный двухместный экипаж.

Арбата сестрѐнка — ей тогда не было и двух лет — засыпала у мамы на руках, а мы начинали томиться. Уже не крутились, не вертелись, не восторгались, увидев над входом в булочную какой-нибудь громадный золотой крендель.

Ежеминутно приставали и спрашивали:

— Скоро вокзал?

— Когда приедем, тогда и будет, — отвечал отец.

А мы снова:

— Скоро приедем?

— Тише, тише, не кричите, — шѐпотом останавливает нас мама. Она сидит неподвижно, боится шелохнуться, боится разбудить сестрѐнку.

Наконец Арбат проехали. Пересекаем Смоленскую площадь. Извозчик притормаживает. Пролѐтка спускается под гору на Дорогомиловский мост. Если повернуть голову и осторожно выглянуть из-за спины извозчика, вокзал уже виден. Только не такой, каким мы его знаем теперь. Теперешний Киевский вокзал построен значительно позже. А каким он был тогда, не помню.

Но зато отлично помню, как, сойдя с извозчика, мы стоим на тротуаре. Отец ушѐл за билетами. Я и Гриша с двух сторон держим его виолончель. Отец доверил нам свой инструмент, и мы крепко ухватились за брезентовый чехол. Боимся уронить. Наши пальцы даже чуть-чуть онемели от старания.

Рядом мама. Сестрѐнка проснулась. Прыгает у неё на руках. Лепечет. Смеѐтся. Ей весело.

А вокруг нас вещи — уйма каких-то свѐртков, баулов, корзин, сумок.

Как мы всё понесѐм? Ведь у нас рук не хватит...

Но вот возвращается отец. Высокий. Надёжный. Спокойный. Он в соломенной панаме, в широкой чёрной пелерине. Пелерина эта застегивается на груди пряжкой с двумя львиными мордами. У отца большие тёмные усы. Он слегка покручивает их двумя пальцами — признак благодушного, хорошего настроения.

При виде отца страхов как не бывало. А тут ещё новое успокоение — за отцом идёт носильщик в белом переднике с огромной бляхой на груди. Минута — и россыпь наших свёртков скручена в один большой узел. Раз! — и узел за спиной носильщика. Теперь можно идти на перрон, садиться в поезд.

Я тороплю брата:

— Иди поскорее! Можешь поскорее?

Он толстяк. Запыхался. Шепчет:

— Могу.

Почти бегом семеним за родителями. Нам очень страшно потеряться на этой широкой безлюдной платформе. Ещё страшнее, если поезд уедет без нас...

## МАСЛЯТА

Скромный домик, в котором мы жили, стоял возле самого пруда. Перед домиком лежала просторная полянка. Вся она заросла одуванчиками. Днём при солнце трава сияла желтизной, будто каждый цветок излучал солнечный свет. Но стоило наступить сумеркам, и цветов как не бывало. И всегда я, маленькая, недоумевала — куда же они делись? Куда убежали так проворно все до одного?

Но едва наступало утро, и они снова тут как тут! И снова вся полянка залита их сияю-

щим светом. Тогда я ещё не знала, что к вечеру одуванчики смыкают свои лепестки, превращаясь в плотные зелёные бутоны.

И ещё перед нашим домиком, почти у самой терраски, росла большая раскидистая липа, а под ней стояла скамейка зелёного цвета. В дождь скамейка эта становилась блестящей и особенно яркой, будто её только что покрыли свежим зелёным лаком. А в знойные летние дни накалялась. Солнечные лучи, падая сквозь просветы листвы, так ухитрялись нагреть скамейку, что боязно было на неё даже присесть.

А за прудом находилось имение Пашковых — огромный тенистый парк и красивый дом.

С островерхой затейливой крышей под красной черепицей, весь увитый густыми плетями дикого винограда или плющом — точно не знаю, — дом был похож на замок из сказки про Кота в сапогах. Дом Пашковых мы так и называли замком.

Дом стоял в глубине парка. К нему, пересекая парк, прямо от пруда вела извилистая дорожка. А через весь пруд с нашего берега на тот берег перекинулся длинный дощатый мосток с деревянными перильцами. Нам, детям, строго-настрого запрещалось не только бегать по этому мостку, но даже близко подходить к нему.

Вероятно, я не запомнила бы так ясно ни зелёный парк, похожий на лес, ни серый дом под красной черепичной крышей, ни пруд, окаймленный со всех сторон ольхой и почти сплошь покрытый белыми лилиями и жёлтыми кувшинками, — ничего этого не сохранила бы моя память, если бы не фотографии. У отца

было множество крёкшинских фотографий. Одни лежали в ящике его письменного стола, другие висели в одной общей раме над столом. Разглядывать эти фотографии было для меня всегда неизменным удовольствием.

И ещё над письменным столом отца, на самом почётном месте, висел портрет Льва Николаевича Толстого с его собственноручной надписью. Портрет был подарен отцу на память о музыкальных вечерах в Крёкшине. В том красивом сером доме за прудом отец много и часто играл Льву Николаевичу. Толстой очень любил музыку.

А мне лучше всего запомнился самый конец того лета, когда Лев Николаевич Толстой приехал в Крёкшино навестить своих внучат — Ильюшку и Сонечку, которые жили в доме Пашковых.

Я знала, что в парке есть одно очень грибное место. Возле дорожки, которая шла от пруда, росли старые мохнатые ели, а под елями во множестве водились маслята. Наша няня набрела на это место, и несколько раз мы с ней ходили туда по грибы.

И вот однажды утром я решила одна, без няни, сбегать к тем самым елям и набрать грибов, тем удивить домашних, а главным образом брата. Схватив какое-то лукошко и полностью забыв о строгом запрете приближаться к мостику, я мигом перемахнула на другую сторону пруда и помчалась к елям. Уж не знаю, как за мною не уследил глаз матери и как меня выпустила из-под своего надзора наша суровая няня? Но под елями за прудом я очутилась совершенно одна.

Было тогда совсем раннее утро. Солнце наискось освещало полянку под елями. А на полянке, ярко освещённой боковыми солнечными лучами, без счёта блестели маслята.

Ползая на коленках, я подхватывала грибы под прохладные скользкие шляпки и торопливо кидала в лукошко. Я была так занята этим делом, что не услышала возле себя шагов и не заметила того, кто остановился поблизости.

И вдруг меня окликнул негромкий голос:

— Покажи-ка, покажи, чего насбирала.

Оглянувшись, я оторопела. На дорожке, совсем рядом, стоял незнакомый старик. Был он маленький, сухонький, одетый в просторную парусиновую<sup>1</sup> рубаху, низко опоясанную кожаным ремнём. На его голове сидела широкополая шляпа. И на меня из-под этой шляпы, из-под седых лохматых бровей смотрели весёлые, живые глаза.

Борода у старика была длинная-предлинная. А в руках он держал палку какого-то редкостного вида.

И хотя голос у него был вовсе не злым, а скорее приветливым и глаза смотрели на меня ласково посмеиваясь, я испугалась до смерти. И, подхватив лукошко с маслятами, кинулась наутёк.

Бежала так, что дух захватывало. Земли под собой не чуяла. Затопала по мостику на ту сторону пруда. Скорее, скорее домой...

Меня провожал негромкий и добродушный стариковский смех.

---

<sup>1</sup> Парусина — грубая льняная ткань (Ред.).

Прибежав, я кинулась рассказывать о своей необыкновенной встрече. В парке, мол, подошёл ко мне старичок. А борода у него — во какая! А палка, каких на свете не бывает! А брови лохматые! А глаза, как буравчики, острые! Я показала, какие это были острые-преострые глаза и как эти глаза на меня глядели...

А далее принялась всю фантазировать. Выходило, что явился ко мне сам лесовик из соседнего леса. И маслята под елями, наверно, заповедные. И собирать их ни за что нельзя. И пошла, пошла выдумывать, уже полностью веря в эту собственную, придуманную сказку.

Меня тут же подняли на смех и отец, и мама, и наша няня. Сказали, что ко мне подходил Лев Николаевич Толстой. Наверно, хотел со мной поговорить, познакомиться, а я, глупая, неизвестно чего испугалась.

О Толстом мы с братом уже знали. Отец читал нам его маленькие рассказы. Более того, мы слышали, что Лев Николаевич два дня тому назад приехал в Крёкшино, в дом Пашковых, навестить своих внучат.

Мне стало очень досадно. Подумать только — со мной заговорил сам Лев Николаевич Толстой, а я испугалась и убежала.

А более всего меня доконали слова Гриши. Он поглядел на меня и сказал:

— Эх ты... — И прибавил: — Разиня!

Я не стерпела, шлепнула его. Он дал мне сдачи. Тут же мы подрались. Оба разревелись. Подросла мама, развела нас. И каждому попало: мне — зачем по мостику ходила, Грише — чтобы не дразнился...



Но тогда же я задумала: обязательно подкараулю Льва Николаевича, подойду к нему и скажу, что ничуть не боюсь его и что мне очень нравятся его рассказы, особенно про кавказского пленника и про Бульку. И пусть он не сердится, что я от него убежала. Вот только бы, размышляла я, только бы встретить его одного, чтобы никто не помешал всё это сказать ему!

### «АРИЯ» БАХА

Почему-то я решила, что непременно должна увидеть Льва Николаевича на том же самом месте, где собирала маслята, — на дорожке возле ёлок. А так как с мосточка, перекинутого через пруд, хорошо просматривались и ёлки, и дорожка, я взялась часто и подолгу стоять возле пруда, наблюдая: не появится ли на дорожке Толстой.

Но прошёл день, два, может, и более того. Уже другие детские игры и заботы заполнили, отвлекли моё внимание. И я почти забыла о том, что хотела где-нибудь подкараулить Льва Николаевича и с ним поговорить...

И всё-таки я вновь увидела его, и снова одного. Стояла с ним почти рядом, а подойти и заговорить не решилась. Не посмела. Только на этот раз уже не с перепугу.

На крёкшинском пруду росло много белых лилий. Никто не обращал внимания на их удивительную красоту. Более того, порой цветы даже поругивали; мол, пруд так зарос, что плавать невозможно, что грести нельзя, что стебли совсем оплели воду.

И вот пока я торчала возле пруда, я вдруг заметила: лилии были словно живые. Они всё время поворачивали свои цветы. Им обязательно надо было глядеть жёлтыми тычинками на солнце. И получалось так: откуда светит солнце, туда и повернут цветок. Казалось, цветок ловит солнечные лучи...

Открытие меня изумило. Но я никому о нём не сказала. Смолчала. Взрослые и так называли меня фантазёркой и выдумщицей, а Гриша попросту дразнил врушкой.

И вот я решила проверить: правда ли цветы водяных лилий всегда смотрят на солнце? А может, мне просто причудилось? Померещилось?

В то утро я выскочила из дому раным-рано. Солнце ещё было низко, оно освещало пруд со стороны нашего домика. Я, видно, сообразила: если цветы действительно глядят на солнце, значит, их головки будут повернуты к нашему домику.

Глубокий, сильный голос папиной виолончели разносился над прудом. Здесь, как и в Москве, отец каждое утро занимался. Но дома, в Москве, эти звуки заглушали и стены, и мягкая мебель, и занавески. А тут, свободно вырываясь из открытого окна, виолончель пела полным и громким голосом, заполняя всё кругом...

Утро было уже по-осеннему прохладным. Зябко поёживаясь, я побежала к пруду. Но каково же было моё разочарование, когда на поверхности воды я не увидела ни одного цветка. Ни одного! Словно какая-то злая рука их оборвала, оставив на воде лишь плоские зелёные листья.

А солнце тем временем поднималось всё выше, воздух согревался. И тут я увидела ещё одно, новое чудо: из воды, прямо у меня на глазах, будто из подводного царства, медленно-медленно стал вылезать продолговатый бутон. Сперва один. Потом другой. И третий...

И каждый бутон, тоже медленно-медленно и тоже прямо у меня на глазах, превращался в пышный белый цветок. А раскрывшись, цветок смотрел именно на солнце, ловя своими ярко-жёлтыми тычинками тёплые лучи.

Я готова была закричать от восхищения. Мне хотелось сейчас же позвать брата, позвать всех-всех! Мне хотелось, чтобы не одна я, а все видели чудо, которое происходит сейчас на моих глазах.

И вдруг я увидела Льва Николаевича Толстого.

Он стоял на противоположном берегу пруда, под зелёными ветвями ольхи, напротив окон нашего домика. Совсем недалеко. Мне стоило лишь перебежать по мосточку на ту сторону, и я была бы возле него. И я бы сказала ему всё, что думала сказать. Всё, что твердила про себя столько раз.

Он стоял, одной рукой опершись на свою необыкновенную палку, другую сунув за кожаный пояс. Лицо его было обращено к солнцу. Было оно задумчивым, сосредоточенным и каким-то просветлённым. Словно он думал сейчас о чём-то очень важном или видел что-то необыкновенное...

Но что? Почему у него было такое лицо?

И вдруг я поняла: он слушает виолончель. Слушает, как она поёт. Более того — я поня-

ла, что слушает он не голос виолончели, а ту музыку, которая раздаётся из окна нашего домика.

И впервые в жизни, не своими ушами, не своим слухом, а слухом этого человека, который с таким просветлённым лицом внимал музыке, услышала и я прекрасную и торжественную мелодию.

Ведь сколько раз эту пьесу играл отец! Она мне была знакома от первой до последней ноты. А услышала я её только сейчас, в это раннее осеннее утро на берегу крёкшинского пруда.

Помню, когда смолкли последние звуки, как бы растворившись в тишине, я кинулась домой, к отцу.

— Папа, что ты сейчас играл? Что это было такое красивое?

Отец ещё не снял со струн пальцев. Он лишь отвёл от виолончели руку со смычком. Посмотрел на меня с удивлением.

— Я играл «Арию» Баха. Великого Иоганна Себастьяна Баха...

— «Арию» Баха... — повторила я, впервые услышав имя Баха.

Но тут же вспомнив, что и Лев Николаевич Толстой тоже слушал музыку, я схватила отца за рукав и потянула к окну.

— Нет, ни за что не угадаешь, кто там стоит за прудом... Ни за что! Лев Николаевич — вот кто! Он тоже слушал Баха.

— Лев Николаевич Толстой? — переспросил отец. И вдруг смутился и покраснел, как мальчик. — Не может быть...

— Вот же он! Вон он стоит! — не помня себя, радостная и возбужденная, твердила я и всё тянула, всё тянула отца к окошку, выходящему на пруд.

Но там, где несколько минут тому назад стоял Толстой, сейчас никого не было. Только чуть-чуть шевелились листья на деревьях, окружавших пруд, да солнечные блики скользили по блестящей, гладкой воде...

### БИРЮЛЬКИ<sup>1</sup>

В тот день отец взял нас с собой в серый дом, который мы называли замком. Вероятно, вечером его пригласили играть Льву Николаевичу и он хотел уточнить время.

Мы перешли через мост на ту сторону пруда. Когда поравнялись с ёлками, я сказала брату:

— Вот тут были маслята. Видимо-невидимо...

— И сейчас их видно-невидимо, — ответил брат. Он любил спорить всегда, всю жизнь!

Правда, и сейчас прямо с дорожки, которая вилась и петляла среди травы, во множестве виднелись маслянистые шляпки грибов. Я не сдалась, я тоже была спорщицей.

— А тогда было видно-невидимо, в сто раз больше!

— Ну и пусть! — воскликнул Гриша и побежал к серому дому. Я припустила следом.

Но возле дома было пусто, ни одного человека. Мы обогнули дом, а там, у заднего

---

<sup>1</sup> Бирюльки — набор мелких деревянных вещичек для игры. Цель игры — из кучи бирюлек доставать крючком по одной, не шевельнув остальных (Ред.).

крыльца, народу собралось тьма. И очень много осёдланных лошадей.

— Дедушка едет за игрушками, — тотчас сообщил нам Ильюшок, внук Льва Николаевича.

В нескольких километрах от Крёкшина жили и работали тогда кустари-игрушечники. Из дерева они искусно вытачивали всяческие безделушки, детские формочки для песка, матрёшки и разноцветные яйца, которые вкладывались одно в другое. В одну из таких деревень вместе с домашними и друзьями собрался Лев Николаевич. Отправлялись туда верхом на лошадях. И в старости, как и смолоду, Лев Николаевич был превосходным наездником. Он прямо и твёрдо сидел на коне, весело поглядывая на всех из-под полей своей широкополой шляпы.

Увидев нас, он тут же предложил отцу:

— А поехали с нами?!

Но отец лишь покосился на осёдланных коней и поспешно отказался: никогда в жизни он не садился в седло.

— Ну, привезу вам подарок, — сказал на прощание Лев Николаевич.

И случилось так, что мы — отец и дети — задержались в сером доме до возвращения Толстого и его спутников. То ли поездка была непродолжительной, то ли мы так заигрались с внучатами Толстого, что отец никакими уговорами не мог оторвать нас от игры.

Из поездки все вернулись весёлые, оживлённые, полные впечатлений. Лев Николаевич сошёл с коня. На этот раз, правда, с чьей-то помощью, — видно, устал дорогой. Тут же по-

звал нас смотреть привезённые игрушки. Мы сразу прибежали на его зов.

Чего-чего только они не привезли! Целый ворох разнообразных кустарных безделушек, ярких, цветастых, заманчивых.

Лев Николаевич, рассматривая их вместе с нами, то и дело повторял:

— Вот умельцы-то, а?

Потом, взглянув на отца, он протянул ему малюсенькое деревянное яблочко, величиной с лесной орешек. Сказал:

— А это вам! — И прибавил: — Откройте. Только осторожно, не рассыпьте.

Мы с Гришей так и впились глазами в это крохотное круглое яблочко.

— Открой, — шёпотом потребовал Гриша, изо всех сил дёрнув отца за рукав.

— Папочка, открой! — взмолилась и я. — Ну пожалуйста...

Но отец открыл заповедное яблочко, когда мы были уже дома.

Был вечер. Мама зажгла над столом висячую лампу. Отец положил на клеёнку лист чистой белой бумаги. Затаив дыхание, смотрели мы с Гришей на его руки. А он с величайшей осторожностью открыл яблочко и высыпал на бумагу всё, что было внутри.

А внутри, в яблочке, было полным-полно деревянных бирюлек. Совсем крохотных, совсем малюсеньких.

В детстве мы очень любили играть в бирюльки. Но те бирюльки, в которые мы играли, были большие — каждая вещица раза два больше, чем то яблочко, которое отцу подарил Лев Николаевич. А тут каждая бирюлька

была чуть побольше манной крупинки. Но было их, как полагается, ровно тридцать две штуки. И блюдца. И чарочки<sup>1</sup>. И крыночка для молока. И чугунок, чтобы ставить кашу в печь. А у чайника был носик и крышка с еле заметной пуговкой. А у самовара кран и две ручки по бокам. И ещё в яблочке лежали два маленьких крючка, чтобы играть в эти самые бирюльки будто в большие, настоящие.

Нет, не зря Лев Николаевич с таким восхищением говорил о кустарях: «Вот умельцы-то...»

— Давайте в них играть! — тут же вскричал Гриша. — Чур, я первый...

Конечно, папа не позволил нам не только играть, но даже прикоснуться к ним, а велел прикрыть ладонями рты, чтобы эти почти невесомые бирюльки не разлетелись в разные стороны от нашего слишком бурного дыхания.

А потом — и это бывало в течение многих-многих лет — вдруг кто-нибудь из нас, я или Гриша, вспомнив про бирюльки, приставали к отцу:

— Покажи!..

И если отец был свободен, он открывал средний ящик своего письменного стола, где лежало множество интересных, но запретных для нас вещей, а среди всего — самое интересное и самое запретное — яблочко с бирюльками.

Как и в первый раз, он стелил на стол лист чистой белой бумаги, мы прикрывали ладонями рты, а он с величайшей осторожностью и благоговением открывал крохотное яблочко, величиной с лесной орешек. Мы, не дыша, смотре-

---

<sup>1</sup> Чарочка — стопка, рюмка.



ли на бирюльки, боясь нечаянно сдуть их со стола на пол. И чем старше становились, тем больше удивлялись искусству, с которым была сделана каждая вещица.

Отец же непременно и всякий раз повторял те давние слова Толстого: «Вот умельцы-то...»

Драгоценный подарок Льва Николаевича Толстого до сих пор хранится в нашей семье.

## ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ

Ещё накануне мы знали, что маме по каким-то важным делам обязательно нужно уехать в Москву.

А стоило маме куда-нибудь уйти — это в Москве, — а здесь, в Крёкшине, стоило ей уехать на день в Москву, и всё меркло в нашей жизни. И солнце светило уже не так ярко. И трава была не такой зелёной, и всё было не то...

Не то чтобы мы забывали о наших играх, о наших деревенских подружках и товарищах, но мы ко всему как бы теряли аппетит. Мы всё время помнили, что мамы нет дома, что мама наша где-то далеко.

И вдруг — о счастье! — прямо с утра зарядил дождь. Мелкий. Частый. На весь день. А разве в такой дождик мама поедет в Москву? Да ни за что на свете!

Дождевые капли то быстрее, то медленнее тренькали по железной крыше. То громко, то совсем тихо шептались с деревьями и кустами. Из окошка был виден пруд весь в рябинках от дождя. И скамейка под липой стала мокрехонькой и ярко-зелёной.

Правда, в такой дождик нельзя было и носа высунуть из дома. Ну и пусть! Зато мама дома. А играть можно и на терраске.

И вдруг серые тучи куда-то разбежались, будто кто-то там наверху преогромной метлой разогнал их в разные стороны. То тут то там заголубело небо. Дождь перестал. И мокрые деревья, стряхивая с листьев дождевые капли, играючи заблестели на солнце.

Папа распахнул дверь терраски. Выглянул. Посмотрел туда, посмотрел сюда. Сказал:

— Пожалуй, распогодилось, а?

Мы сразу насторожились. Бросили играть. Неужто мама всё-таки поедет?

— Да, — тут же сказала мама, — можно ехать...

— Схожу на конюшню, попрошу, чтобы запрягли...

Это говорит папа. А мама ему в ответ:

— Да зачем же... И так дойду.

— По такой грязи?!

— Тогда захватим с собой детей. Пусть прокатятся до станции.

Милая мама! По нашим лицам она сразу поняла, что мы огорчились, она ведь знала, мы не любим оставаться без неё...

И вот мы едем на станцию. У мамы на коленях маленькая сестрёнка. Рядом — один слева, другая справа, — прижавшись к маме, сидим мы, старшие. А папа на козлах. Он лихо дёргает вожжами. Лихо понукает лошадь. Громко прищёлкивает языком. Мы гордимся нашим папой: он кучер хоть куда!

На маленькой крёкшинской платформе, всегда тихой и пустой, сегодня множество людей.

Встречают Софью Андреевну Толстую, жену Льва Николаевича. С минуты на минуту она должна вернуться из Москвы.

Льва Николаевича обступила орава ребятешек. Он показывает им свою необыкновенную палку. Воткнув в землю, палку можно превратить в небольшую удобную скамеечку. Этой палкой Лев Николаевич пользовался во время своих долгих пешеходных прогулок. Устанет, воткнёт палку в землю, посидит на скамеечке, немного отдохнёт и пойдёт шагать дальше.

Охотно, с доброй улыбкой, он передавал сейчас палку каждому из ребятешек. Показывал, как сделать из неё скамеечку. Позволял каждому посидеть на этой скамеечке, а потом снова превратить в палку.

Между тем, громяхая колёсами, подошёл поезд. Уже с вагонной площадки мама давала нам свои предотъездные наставления. И чтобы мы были умниками, чтобы не бегали по лужам, чтобы не дрались, чтобы не сердили няню, чтобы не обижали сестрёнку, чтобы даже близко не смели подходить к пруду, чтобы...

Три раза заблямкал станционный колокол, пронзительно засвистел свисток кондуктора, паровоз загудел, выпустив из себя белое облако пара, и поезд тронулся. А мы были так заняты необыкновенной палкой Льва Николаевича, что вроде бы и не заметили, что наша мама укатила в Москву...

Наконец папа велел нам собираться домой. Усадив поудобнее нас троих, сам взгромоздившись на козлы, он готов был дёрнуть вожжи, как вдруг увидел, что к нам приближается Лев

Николаевич. Очевидно, ему надо было о чём-то узнать у отца.

Подойдя к брочке и немного поговорив с отцом, он заметил удивительно чёрные и блестящие глазки нашей маленькой сестрёнки. Протянул ей цветок и спросил шутливо:

— Откуда у тебя такие чёрные глазки?

А сестрёнка (она очень рано стала говорить) вдруг бойко ответила:

— Уж какие есть...

Ответ её развеселил Толстого. Он засмеялся:

— Вот ведь как сказала, умница...

Я-то знала, что сестрёнка не сама придумала ответ. Это было любимое присловье нашей няни: «Молоко горячее...» — «Уж какое есть!». «Хорошая ты, нянечка!» — «Уж какая есть!»

Фотография, на которой снят Лев Николаевич возле брочки с двумя ребятами и нашим папой на козлах, всегда висела над письменным столом отца.

## ОВСЯНАЯ КАША

Мы знали, что Толстой приехал в Крёкшино ненадолго и со дня на день должен отсюда уехать.

В день его отъезда отец собрался в серый дом проститься с Львом Николаевичем.

Гриша и я, конечно, увязались за ним.

Возле серого дома мы увидели Ильюшка. Он тут же нам сообщил:

— А сегодня дедушка уезжает!

А мы ему ответили, что знаем об этом давным-давно. И тут, казалось бы ни с того ни с сего, Ильюшок спросил меня:

— Ты любишь овсяную кашу?

— Ненавижу! — ответила я. — Ненавижу больше всех каш на свете...

— А дедушка любит её больше всех каш на свете, — сказал Ильюшок. И вдруг Гриша выпалил:

— Я тоже люблю овсяную кашу больше всех каш на свете!

Вот врунишка! Я же отлично знала, что он терпеть не может, когда няня нам варит эту кашу. Но я не успела уличить его во лжи. Ильюшок сказал:

— Сегодня у нас на завтрак овсяная каша... — И он грустно вздохнул. Я от души пожалела Ильюшка и не стала препираться с Гришей.

А надо сказать, что Толстой ел только растительную пищу и никакую другую не употреблял. Об этом нам сообщил Ильюшок.

— А котлеты? — спросил Гриша.

— Нельзя. Их готовят из мяса, — сказал Ильюшок.

Тут мы с Гришей принялись перечислять всё, что мы особенно любили. И оказалось, что Льву Николаевичу всего этого нельзя, нельзя и нельзя...

— А молоко-то он пьет? — спросила я.

— Молоко? — переспросил Ильюшок. — Да, молоко, кажется, можно...

А теперь, после разговора с Ильюшком, оказалось, что самое любимое у Льва Николаевича невкусная и скользкая овсяная каша... «Вот бедный», — подумала я, радуясь, что мне-то не придётся есть эту кашу.

Потом мы взялись играть в нашу самую любимую игру. Под толстым старым дубом, под

шатром его зелёной кроны, у нас была превосходная конюшня. Каких только коней мы не держали! Всех мастей — и вороных, и белых, и серых, и буланных, и караковых, и гнедых. В нашей конюшне был целый табун лошадей. Мы скакали на них по всем дорожкам парка, водили на водопой, кормили самой зелёной травой. И у каждого коня — хоть это были просто-напросто обыкновенные палки — были свои повадки и свой характер. Ильюшок — он был немного старше нас — по этой части считался великим знатоком. Мы ему подчинялись беспрекословно.

В самый разгар игры раздался голос Ольги Константиновны, матери внучат Толстого. Голос этот звал завтракать, иными словами — есть овсяную кашу.

Ко мне и к Грише это не могло относиться. Мы ведь давно позавтракали у себя дома.

Ильюшок же понуро отправился на зов матери. Мы продолжали с гиканьем скакать верхом на своих каурых, рыжих и вороных лошадках. Какие же они были быстроногие и послушные!

И вдруг увидели, что Ильюшок бежит обратно. Веселый, ликующий.

— И вы, и вы!.. — выкрикивал он ещё издали, смеясь и махая нам руками. — Ты и ты... — Он показал пальцем на меня и на Гришу. — Вы тоже идите завтракать! Мама велела...

Вот те раз!

Но как мы ни отнекивались, пришлось идти. Когда же мы входили в столовую, то отец — оказывается, и он был приглашён к завтраку — шёпотом, но очень строго сказал:

— И без капризов... Поняли?

Как не понять! Конечно, поняли! Сидеть мы должны смирно, ногами под столом не болтать, ложку держать правильно, есть аккуратно, и главное... Да, главное — без капризов есть эту самую овсяную кашу, которую Лев Николаевич любит больше всех каш на свете. А съесть её надо всю, до последней капельки!

И вот мы сидим за большим длинным столом. На одном конце взрослые. Там Лев Николаевич, Софья Андреевна и ещё много незнакомых нам людей. Среди них наш отец.

А на этом конце — мы, дети: внуки Льва Николаевича да я с Гришей. Сидим смирно, не шелохнувшись. Ждём. А перед каждым ложка и глубокая тарелка. И я боюсь: как же мне есть кашу, которую я ненавижу всю жизнь!

А с того конца стола, где взрослые, на меня пристально смотрят строгие отцовские глаза. И я отлично понимаю его бессловесный взгляд; «Будь умницей и не капризничай!..» И ещё я знаю, что ему очень не хочется, чтобы его дети осрамились перед Львом Николаевичем Толстым, которого он так любит и так уважает.

Когда же я отвела глаза от отца, то увидела, что передо мною уже полнехонькая — ну прямо до краёв! — тарелка с кашей. Глянула налево, на Гришу, а он так и работает, так и молотит ложкой, за обе щёки уплетая кашу. Посмотрела направо, и Ильюшок с великим удовольствием ест эту самую кашу.

А вкуснее всего это получалось у Льва Николаевича. Он ел да похваливал, ел да похваливал:

— Ничего не знаю вкуснее овсяной каши. А нынче особенно удалась...

Тут и я лихо взялась за ложку и не успела оглянуться, как моя тарелка стала пустой и чистехонькой, будто не ложкой, а языком по ней прошлась.

С той поры, если дома няня нас спрашивала, какую же кашу нам сготовить, мы с Гришей в один голос просили:

— Овсяную! Как в Крёкшине!

## БУЛЬКА

Маленькие рассказы Толстого мы очень рано узнали и сразу полюбили. А теперь, когда Лев Николаевич жил с нами совсем рядом, почти по соседству, рассказы эти нам казались особенно интересными.

Ведь стоило лишь перебежать по мосточку на ту сторону пруда, и мы видели Толстого, который сочинил эти рассказы. Либо он гулял по дорожкам парка, либо сидел на скамейке возле дома, либо с кем-нибудь разговаривал. Да и сам он частенько приходил на нашу сторону.

От отца мы с братом узнали, что в Ясной Поляне, где всегда жил Толстой, им была открыта школа для крестьянских детей. Именно для учеников Яснополянской школы и были написаны эти понятные и правдивые маленькие рассказы.

Больше всех нам понравился рассказ про собаку Бульку. Редко-редко случалось, чтобы после полуденного чая мы не пристали к отцу:

— Почитай про Бульку!

— Вчера ведь читал...



— Вчера уже прошло. Мы хотим сегодня.

И отец — он всегда уделял нам много времени и внимания — покорно брал книжку маленьких рассказов Толстого и шёл на нашу любимую зелёную скамейку под липой.

Особенно волновало и трогало меня и Гришу то место в рассказе, когда хозяин Бульки, или, как мы понимали, сам Лев Николаевич Толстой, заперев собаку в комнате, уходит на станцию, чтобы без Бульки уехать далеко-далеко на Кавказ. В этом месте я всегда начинала плакать, а у Гриши хмуро сдвигались брови.

И хотя всё кончалось благополучно — Булька, выбив стекло в окне, в конце концов догнал своего хозяина, — мы всё равно не могли понять: как же мог Лев Николаевич так поступить со своей собакой?

А вообще-то у нас, как у многих детей, была затаённая и почти несбыточная мечта: нам очень хотелось щеночка. Мне — чёрненького с белыми лапками, Грише — настоящую пятнистую охотничью собаку, чтобы с ней ходить на охоту. На зайцев. На волков. На медведей. А может быть, даже на тигров!

И так случилось, что именно в Крёкшине и именно в те дни, когда отец нам часто читал про Бульку, наша несбыточная мечта вдруг сбылась.

Гриша откуда-то притащил щенка. Но что это был за щенок! Худой, голодный, грязный заморыш. Весь блохастый, со свалявшейся рыжеватой шёрсткой.

Когда мама увидела щенка и когда мы заявили, что отныне щенок останется у нас на